

Роман великий в буквальном смысле слова, доподлинный шедевр от автора удостоенного Букеровской премии «Предчувствия конца». Казалось бы, прочел и не так много страниц — а будто прожил целую жизнь.

The Guardian

В Великобритании гремит новая книга Джулиана Барнса, посвященная Шостаковичу и его жизни в эпохи террора и оттепели. Но амбиции Барнса, конечно, выше, чем сочинение беллетризованной биографии великого композитора в год его юбилея. Барнс лишь играет в осведомленного биографа, и зыбкая почва советской истории, во многом состоящей из непроверенной информации и откровенного вранья, подходит для этого как нельзя лучше: правд много, выбирай любую, другой человек по определению — непостижимая тайна.

Тем более что случай Шостаковича — особенный: Барнс во многом опирается на скандальное «Свидетельство» Соломона Волкова, которому композитор свои мемуары то ли надиктовал, то

ли надиктовал отчасти, а то ли вовсе не надиктовывал. Так или иначе, у автора есть лицензия художника на любые фантазии, и возможность залезть в голову придуманного им Шостаковича позволяет Барнсу написать то, что он хочет: величественное размышление о правилах выживания в тоталитарном обществе, о том, как делается искусство, и, конечно, о конформизме.

Барнс, влюбленный в русскую литературу, учивший язык и даже бывавший в СССР, проявляет впечатляющее владение контекстом. На уровне имен, фактов, топонимов — это необходимый минимум, — но не только: в понимании устройства быта, системы отношений, каких-то лингвистических особенностей. Барнс то и дело козыряет фразами вроде «рыбак рыбака видит издалека», «горбатого могила исправит» или «жизнь прожить — не поле перейти» («Живаго» он, конечно, читал внимательно). И когда герой начинает подверстывать к своим рассуждениям стихотворение Евтушенко про Галилея, в этом вдруг чудится не кропотливая подготовка британского интеллектуала, а какое-то совершенно аутентичное прекраснодушие советского интеллигента.

Станислав Зельвенский
(Афиша Daily / Мозг)

Не просто роман о музыке, но музыкальный роман. История изложена в трех частях, сливающихся, как трезвучие.

The Times

Гюстав Флобер умер на 59-м году жизни. В этом возрасте знаменитый писатель Джулиан Барнс, чьим божеством был и остается Флобер, написал

роман о том, как Артур Конан Дойль расследует настоящее преступление. Барнсу исполнилось 70 — и он выпустил роман о Шостаковиче. Роман имеет мандельштамовское название — «Шум времени».

Барнс, неустанно возносящий хвалу не только Флоберу, но и русской литературе, намекает в названии сразу на три культурно-исторических уровня. Первый — сам Мандельштам, погибший в лагере через год после 1937-го, когда Шостакович балансировал на краю гибели. Второй — музыка Шостаковича, которую советские упыри обозвали «сумбуrom», то есть шумом. Наконец, шум страшного XX века, из которого Шостакович извлекал музыку — и от которого, конечно, пытался бежать.

Кирилл Кобрин
(*bbcrussian.com / Книги Лондона*)

Роман обманчиво скромного объема... Барнс снова начал с чистого листа.

The Daily Telegraph

Барнс начал свою книгу попыткой некоего нестандартного строения — дал на первых страницах дайджест тем жизни Шостаковича, которые потом всплывают в подробном изложении. Это попытка построить книгу о композиторе именно музыкально, лейтмотивно. Один из таких мотивов — воспоминание о даче родителей Шостаковича, в которой были просторные комнаты, но маленькие окна: произошло как бы смешение двух мер, метров и сантиметров. Так и в позднейшей жизни композитора разворачивается эта тема: громадное дарование, втиснутое в оковы мелочной и враждебной опеки.

И все-таки Барнс видит своего героя победителем. Сквозной афоризм проходит через книгу: история — это шепот музыки, который заглушает шум времени.

*Борис Парамонов
(Радио «Свобода»)*

Безусловно один из лучших романов Барнса.
Sunday Times

Это отвечает не только моему эстетическому восприятию, но и моим интересам — дух книги лучше выражать посредством стиля, путем использования определенных оборотов речи, немного странных оборотов, которые подчас могут напоминать переводной текст. Именно это, по моему, дает читателю чувство времени и места. Мне не хочется писать нечто вроде «он прошел по такой-то улице, свернул налево и увидел напротив знаменитую старую кондитерскую или что-то там еще». Я не создаю атмосферу времени и места таким образом. Уверен, что гораздо лучше делать это посредством прозы. Любой читатель способен понять, о чем идет речь, смысл совершенно ясен, однако формулировки чуть отличаются от привычных, и вы думаете: «Да, я сейчас в России». По крайней мере, я очень надеюсь, что вы это почувствуете.

Джулиан Барнс

В своем поколении писателей Барнс однозначно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Посвящается Пат

Кому слушать,
Кому на ус мотать,
А кому горькую пить.

Дело было в разгар войны, на полустанке, плоском и пыльном, как бескрайняя равнина вокруг. Ленивый поезд два дня как отбыл из Москвы направлением на восток; оставалось еще двое-трое суток пути — в зависимости от наличия угля и от переброски войск. С рассветом вдоль состава уже двинулся какой-то мужичок: можно сказать, ополовиненный, на низкой тележке с деревянными колесами. Чтобы управлять этой приспособой, нужно было разворачивать, куда требовалось, передний край; а чтобы не соскальзывать, инвалид вставил в шлейки брюк веревку, пропущенную под рамой тележки. Кисти рук были обмотаны почерневшими тряпками, а кожа задубела, покуда он побирался на улицах и вокзалах.

Отец его прошел империалистическую. С благословения сельского батюшки отправился сражаться за царя и отечество. А когда вернулся, ни батюшки, ни царя уже не застал, да и отечества было не узнать.

Жена заголосила, увидев, что сделала война с ее мужем. Война-то была другая, да враги прежние, разве что имена поменялись, причем с двух сторон. А в остальном — на войне как на войне: молодых парней отправляли сперва под вражеский огонь, а потом к коновалам-хирургам. Ноги ему оттяпали в военно-полевом госпитале, среди бурелома. Все жертвы, как и в прошлую войну, оправдывались великой целью. Да только ему от этого не легче. Пусть другие языками чешут, а у него своя забота: день до вечера протянуть. Он превратился в спеца по выживанию. Ниже определенной черты такая судьба ждет всех мужиков: становится спецами по выживанию.

На перрон сошла горстка пассажиров — глотнуть пыльного воздуха; остальные маячили за окнами вагонов. У поезда нищий обычно заводил разухабистую вагонную песню. Авось кто-нибудь да бросит копейку-другую в благодарность за развлечение, а кому не по нутру — тоже денежку дадут, лишь бы поскорей дальше проезжал. Иные исхитрялись монеты на ребро бросать, чтобы поглумиться, когда он, отталкиваясь кулаками от бетонной платформы, вдогонку пускался. Тогда другие пассажиры обычно аккуратнее подавали — кто из жалости, кто со стыда. Он видел только рукава, пальцы и мелочь, а слушать не слушал. Сам он был из тех, кто горькую пьет.

Двое попутчиков, ехавших в мягком вагоне, стояли у окна и гадали, где сейчас находятся и долго ли тут проторчат: пару минут, пару ча-

сов или же сутки. Никаких объявлений по трансляции не передавали, а интересоваться — себе дороже. Будь ты хоть трижды пассажир, а как станешь задавать вопросы о движении поездов — того и гляди примут за вредителя. Обоим было за тридцать — в таком возрасте уже крепко затвержены кое-какие уроки. Сухощавый, весь на нервах очкарик, из тех, которые слушают, обвешал себя чесночными дольками на нитках. Имени его попутчика история не сохранила; этот был из тех, которые на ус мотают.

К их вагону, дребезжа, близилась тележка с ополовиненным нищим. Тот горланил лихие куплеты про деревенские непотребства. Остановившись под окном, жестами попросил подать на пропитание. В ответ очкарик поднял перед собой бутылку водки. Из вежливости уточнить решил. Только слыханное ли дело, чтобы нищий выпить отказался? Не прошло и минуты, как те двое спустились к нему на перрон.

То бишь выдалась возможность сообразить на троих. Очкарик по-прежнему держал бутылку, а его спутник три стакана вынес. Налили, да как-то не поровну; пассажиры нагнулись и произнесли, как положено, «будем здоровы». Чокнулись; нервный хударяга склонил голову набок, отчего в стеклах очков на миг полыхнуло восходящее солнце, и что-то прошептал; другой хохотнул. Выпили до дна. Нищий тут же протянул свой стакан, требуя повторить. Собутыльники плеснули ему остатки, потом забрали стаканы и к себе в вагон поднялись. Блаженствуя от тепла, что рас-

текалось по увечному телу, инвалид покати́л к следующей кучке пассажиров. К тому времени, когда двое попутчиков обосновались в купе, тот, который услышал, почти забыл, что сам же и сказал. А тот, который запомнил, только-только стал на ус мотать.

Часть
первая
**НА ЛЕСТНИЧНОЙ
ПЛОЩАДКЕ**

Он твердо знал одно: сейчас настали худшие времена.

Битых три часа он томился у лифта. Курил уже пятую папиросу, а мысли блуждали.

Лица, имена, воспоминания. Торфяной брикет — тяжестью на ладони. Над головой бьют крыльями шведские водоплавающие птицы. Подсолнухи, целые поля. Аромат одеколона «Гвоздика». Теплый, сладковатый запах Ниты, уходящей с теннисного корта. Лоб, мокрый от пота, стекающего с мыска волос. Лица, имена.

А еще имена и лица тех, кого уже нет.

Ничто не мешало ему принести из квартиры стул. Но нервы так или иначе не дали бы усидеть на месте. Да и картина была бы довольно вызывающая: человек расположился на стуле в ожидании лифта.

Шум времени

Гром грянул нежданно-негаданно, однако была в этом своя логика. В жизни всегда так. Взять хотя бы влечение к женщине. Накатывает нежданно-негаданно, хотя вполне логично.

Он постарался сосредоточить все мысли на Ните, но они, шумные и назойливые, как мясные мухи, не поддавались. Пикировали, само собой разумеется, на Таню. Потом, жужжа, уносились к той девице, Розалии. Краснел ли он, вспоминая о ней, или же втайне гордился своей шальной выходкой?

Покровительство маршала — оно ведь тоже оказалось неожиданным и вместе с тем вполне логичным. А судьба самого маршала?

Добродушное, бородатое лицо Юргенсена — и тут же воспоминание о суровых, неумолимых маминых пальцах на запястье. И отец, милейший, обаятельный, скромный отец, который стоит у пианино и поет «Отцвели уж давно хризантемы в саду».

В голове — какофония звуков. Отцовский голос; вальсы и польки, сопровождавшие ухаживание за Нитой; четыре фа-диезных вопля заводской сирены; лай бродячих собак, заглушающий робкого фаготиста; разгул ударных и медных духовых под бронированной правительственной ложей.

Часть первая. На лестничной площадке

Эти шумы прервал один, вполне реальный: внезапный механический рык и скрежет лифта. Дернулась нога, опрокинув стоявший рядом чемоданчик. Память вдруг улетучилась, а ее место заполнил страх. Но лифт остановился со щелчком где-то ниже, и умственные способности восстановились. Подняв чемоданчик, он ощутил, как внутри мягко сдвинулось содержимое. Отчего мысли тут же метнулись к истории с пижамой Прокофьева.

Нет, не как мясные мухи. Скорее как комары, что роились в Анапе. Облепляли все тело, пили кровь.

Стоя на лестничной площадке, он думал, что властен над своими мыслями. Но позже, в ночном одиночестве, ему показалось, что мысли сами забрали над ним всю власть. И от судеб защиты нет, как сказано у поэта. И от мыслей тоже защиты нет.

Он вспомнил, как мучился от боли в ночь перед операцией аппендицита. Двадцать два раза начиналась рвота; на сестру милосердия обрушились все известные ему бранные слова, а под конец он стал просить знакомого, чтобы тот привел милиционера, способного единым махом положить конец всем мучениям. Пусть с порога меня пристрелит, молил он. Но приятель отказал ему в избавлении.

Шум времени

Сейчас ни приятель, ни милиционер уже не требуются. Доброхотов и так предостаточно.

Если быть точным, заговорил он со своими мыслями, все это началось утром двадцать восьмого января тридцать шестого года на железнодорожной станции в Архангельске. Нет, откликнулись мысли, ничто не начинается таким манером, в конкретный день, в конкретном месте. Начиналось все в разных местах, в разное время, причем зачастую еще до твоего появления на свет, в чужих землях и в чужих умах.

А единожды начавшись, все идет заведенным порядком — и в других землях, и других умах.

Его собственный ум сейчас занимало курево: «Беломор», «Казбек», «Герцеговина Флор». Некто потрошит папиросы, чтобы набить трубку, оставляя на письменном столе россыпь картонных трубочек и клочков бумаги.

Можно ли на нынешней стадии, хотя и запоздало, все поменять, исправить, вернуть на место? Ответ он знал — как сказал доктор на просьбу приставить нос: «Оно, конечно, приставить можно; но я вас уверяю, что это для вас хуже».

Потом на ум пришел Закревский, и сам Большой дом, и кто в нем сменил Закревского. Свято место пусто не бывает. Так уж устроен этот мир, что Закревских в нем — пруд пруди. Вот когда

Часть первая. На лестничной площадке

будет построен рай, а уйдет на это почти ровным счетом двести миллиардов лет, нужда в таких Закревских отпадет.

Бывает, что происходящее оказывается за гранью понимания.

Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, как сказал градоначальник при виде жирафы. Ан нет: и может быть, и бывает.

Судьба. Этим величественным словом просто-напросто обозначается нечто такое, против чего ты бессилен. Когда жизнь объявляет: «А посему...», ты согласно киваешь, полагая, что с тобой говорит судьба. А посему: назначено ему было зваться Дмитрием Дмитриевичем. И ничего не попишешь. Крестины свои он, естественно, не запомнил, но никогда не сомневался в правдивости семейного предания. Домашние собрались в отцовском кабинете вокруг переносной купели. Прибыл батюшка, спросил родителей, какое они выбрали имя для младенца. Ярослав, отвечали они. Ярослав? Батюшка поморщился. Сказал, что имя чересчур заковыристое. Добавил, что ребенка с таким именем в школе задразнят и заклюют; нет-нет, Ярославом наречь никак не возможно. Отца с матерью озадачил такой неприкрытый отпор, но обижать никого не хотелось. А вы какое имя предлагаете? — спросили они. Да попроще, отвечивал батюшка. К примеру, Дмитрий. Отец указал, что Дмитрием уже зовут его самого и что

Шум времени

«Ярослав Дмитриевич» куда приятней для слуха, нежели «Дмитрий Дмитриевич». Но священник — ни в какую. А посему в мир вошел Дмитрий Дмитриевич.

Да и что в имени? Родился он в Санкт-Петербурге, рос в Петрограде, а вырос в Ленинграде. Или в Санкт-Ленинбурге, как говаривал сам. Так ли уж важно имя?

Ему исполнился тридцать один год. В нескольких метрах от него в квартире спит жена Нита, рядом с нею — Галина, их годовалая дочка. Галя. За последнее время жизнь его, похоже, обрела устойчивость. Эту сторону вещей он как-то не характеризовал напрямую. Ему не чужды сильные эмоции, но выражать их почему-то не получается. Даже на футболе он, в отличие от других болельщиков, почти никогда не горланит, не бузит; его устраивает вполголоса отмечать мастерство — или бездарность — конкретного игрока. Некоторые усматривают в этом типичную чопорность застегнутого на все пуговицы ленинградца, но сам-то он знает, что за этим (или под этим) таятся застенчивость и тревога. Правда, с женщинами он пытается отбросить застенчивость и мечется от нелепой восторженности к отчаянной неуверенности. Как будто невпопад переключает метроном.

И все равно жизнь его в итоге обрела некоторую упорядоченность, а вместе с нею — верный

Часть первая. На лестничной площадке

ритм. Правда, сейчас опять вернулась неопределенность. Неопределенность — это эвфемизм, если не хуже.

Стоящий у ноги чемоданчик с самым необходимым напомнил о несостоявшемся уходе из дома. В каком же возрасте это было? Лет в семь-восемь, наверное. А чемоданчик он в тот раз прихватил? Нет, вряд ли — мама бы не позволила. Дело было летом в Ириновке, где отец служил на руководящей должности. А Юргенсен нанялся разнорабочим к ним в дачную усадьбу. Мастерил, чинил, с любым делом справлялся так, что даже ребенку любо-дорого было смотреть. Никогда не поучал, а всего лишь показывал, как из деревяшки получается хоть сабля, хоть свистулька. А однажды принес ему свежий торфяной брикет и дал понюхать.

К Юргенсену он тянулся всей душой. Говорил, обижаясь на кого-нибудь из домашних (а такое случалось нередко): «Ну и ладно, уйду от вас к Юргенсену». Как-то раз, утром, еще не встав с постели, он уже высказал вслух эту угрозу, а может, обещание. Мать не заставила его повторять дважды. Одевайся, приказала она, я тебя отведу. Он не спасовал (нет, собрать вещи не удалось); Софья Васильевна крепко сжала ему запястье и повела через луг в направлении избышки Юргенсена. Поначалу, беспечно вышагивая рядом с мамой, он хорохорился. Но вскоре уже плелся нога за ногу; запястье, а после и ладошка стали высвобождаться из материнских тисков. В ту пору ему

Шум времени

казалось, что это *он* вырывается, но теперь стало ясно: мать сама постепенно его отпускала, палец за пальцем, пока не освободила полностью. Освободила не для того, чтобы он ушел к Юргенсену, а чтобы разревелся и бросился назад, к дому.

Руки: одни выскользывают, другие жадно тянутся. В детстве он боялся мертвецов: вдруг они поднимутся из могил и утянут его в холодный, черный мрак, где глаза и рот забьются землей. Этот страх мало-помалу отступил, потому что руки живых оказались еще страшнее. Петроградские проститутки не считались с его юностью и неискушенностью. Чем труднее времена, тем nastырней руки. Так и норовят схватить тебя за причинное место, отобрать еду, лишить друзей, родных, средств к существованию, а то и самой жизни. Почти так же сильно, как проститутку, он боялся дворников. И тех — как их ни называй, — кто служит в органах.

Но есть и страх противоположного свойства: страх отпустить руку, которая тебя защищает.

Маршал Тухачевский его защищал. Не один год. Вплоть до того дня, когда — у него на глазах — с маршальского мыска по лбу заструился пот. Эти струйки обмахивал и промокал белоснежный носовой платок, и стало ясно: защита кончилась.

Часть первая. На лестничной площадке

Более разносторонних людей, чем маршал, он не припоминал. Тухачевского, знаменитого на всю страну военного теоретика, в газетах величали Красным Наполеоном. Ко всему прочему маршал любил музыку и своими руками изготавливал скрипки, обладал восприимчивым, пытливым умом, охотно рассуждал о литературе. На протяжении десяти лет их знакомства маршал в своем френче то и дело мелькал на улицах Москвы и Ленинграда после наступления темноты: не забывая ни о долге, ни о радостях жизни, успешно совмещал политику и приятное времяпрепровождение, беседовал и спорил, выпивал и закусывал, не скрывал своей слабости к балеринам. Рассказывал, что французы в свое время открыли ему секрет: как пить шампанское, не пьянея.

Перенять этот светский лоск ему не удалось. Самоуверенности не хватало; да и особого желания, как видно, не было. Он не разбирался в тонких деликатесах, быстро хмелел. В студенческие годы, когда все подвергалось переоценке и переработке, а партия еще не забрала полную государственную власть, он, как и большинство студентов, строил из себя философа, не имея на то никаких оснований. Пересмотру неизбежно подвергался и вопрос отношения полов: коль скоро устарелые взгляды были отброшены раз и навсегда, кто-нибудь при каждом удобном случае ссылался на теорию «стакана воды». Интимная близость, вещали молодые умники, подобна стакану воды: чтобы утолить жажду, достаточно выпить воды, а чтобы утолить влечение, достаточно

Содержание

Часть первая. НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ.....	17
Часть вторая. В САМОЛЕТЕ	83
Часть третья. В АВТОМОБИЛЕ.....	149
От автора.....	230
Примечания. <i>Е. Петрова</i>	233